

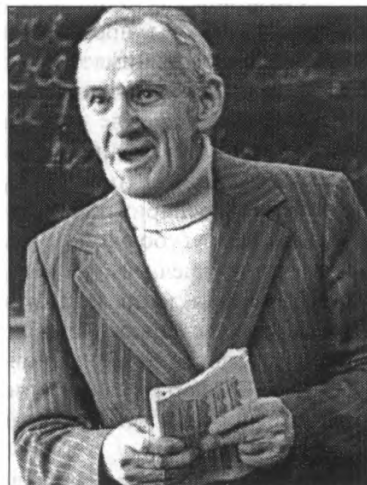
MEMORIA

К 110-ЛЕТИЮ УЧИТЕЛЯ

Памяти М. Я. Сюзюмова

Судьба историка, его исследовательская лаборатория... В последние годы возникает интерес к новым граням этих явлений. От типа ученого, представитель коего со скромностью, которая паче гордости, отвечал назойливым приставам, что «кухня» его никого не касается и что дело внимающих – смотреть на результаты, а не на процесс изысканий, – от этого типа ученого мы вновь идем к типу, в истории большой мировой культуры в последний раз крупно объявленному, кажется, в теории романтизма. Ф. Шлегель прямо призывал сочетать «гениальность и критику», ибо, по его мнению, высокая духовная деятельность не терпит каких-либо ограничений в отношении прав и воли свободного ума. Всё бы хорошо, но творчество историка – исходно непосредственно (если действительно не отрывает взгляда от текста источника) и «наивно» (если к тому же вооружено теорией, которую он полагает правильной). Не затрещит ли радужная оболочка этого творчества, его нежная форма под натиском мощного интеллекта новейших исследователей? Под натиском могучего интеллекта самого изыскателя? Михаил Яковлевич Сюзюмов уже в выявлении сугубо византийских начал в феномене иконоборчества преодолел эту методологическую антиномию. Он уже там *весь как Сюзюмов*, и он Профессор. На истфаке так называли – с заглавной буквы – только его одного. Всякий ли способен выдержать такое? Для Сюзюмова подобного вопроса даже не стояло. Не уверен, знал ли он вообще о подобном именовании применительно к себе.

Начиная с публикации (на плохой газетной бумаге) «Книги эпарха», а также с широкого распространения идей о роли города-эмпория, о внутренних (малосравнимых с западно-европейскими) потенциях митрокомии и др., в связи с драчливой известностью взглядов на варварские завоевания как на реакционное явление, проблема антиномич-



ности и многозначности историографического сознания, казалось, сама просилась в центр внимания думающего византиноведения. В адекватном осознании этого факта и А. П. Каждан, и Е. Э. Липшиц, и Г. Л. Курбатов не были одиноки, но в адекватную полемику с Сюзюмовым они устремились первыми. И вот теперь мы снова улавливаем что-то ранее не замеченное в темах сюзюмовского осознания истории, фиксируем новые нити в причудливой ткани сюзюмовской методики. Какие-то историографические тайны, о которых, казалось бы, многие уже забыли. Какой-то яркий свет, который был при нас где-то в преподавательской юности и после ушел куда-то. И вот неожиданно (хотя, какое там, неожиданного как раз в этом нет) на Шестых Уральских археографических чтениях (почти накануне 110-летия) в сюжетах, мягко говоря, далеких от византиноведения, вновь всплывает имя Профессора, неординарно относившегося к тексту первоисточника и являющегося недостижимым по уровню охвата острых историографических тем. А за несколько месяцев до этого, на очередных Сюзюмовских чтениях, ученики Михаила Яковлевича и их коллеги вслух задумывались не только о причудливости судеб открытой им в свое время проблематики, но и о способах донесения ее до искушенных и, особенно, до неискушенных умов в 40–50-е годы прошлого века. И еще знаменательнее. В мае, на XVI Всероссийской сессии византинистов, где решительно преобладала молодежь, изведавшая изыски специализированных библиотек и общение с учеными Германии, Греции, Италии, но не привыкшая видеть в Москве питомцев сюзюмовского гнезда, с удивлением открыла для себя действительность бытия третьего российского центра византиноведения, продемонстрировавшего верность уральским представлениям о цивилизации ромеев.

Уральская, сюзюмовская византинистика является, разумеется, прежде всего именно школой, хотя и живет по тем правилам византиноведения, которые значимы во всем мире. Известно также, что правила эти разнообразны и что в тех или иных византиноведческих традициях на первый план выступают различные факторы.

Сюзюмовская концепция Византии, чей пафос сильно влияет и на нынешние поиски уральской школы, продолжает жить таким образом, что восточно-римская целостность неизменно воспринимается нами не просто как уникальная яркая цивилизация, но прежде всего как средиземноморская империя, оказавшаяся учителем жизни для иных народов и государств, прежде всего державных. Моральная и идейно-политическая функция византинистики и ранее ценилась очень высоко, но в указанном смысле, да еще в российских условиях, подчеркнуть ее в своих штудиях решались немногие. Хотя, даже с оглядкой оспаривая такой подход, – что, впрочем, было нередко, ибо полагалось заниматься сугубо экономической и классовой проблематикой, – все равно обсуждали; никто не прошел мимо. Этим наша византиноведческая традиция в значительной степени отличается, например, от западной, в которой отношение к Византии, как правило, было более «специализированным». Исследователь ставил перед собой задачу говорить правду о восточно-христианском государстве или описывал красоты выросшей на берегах Босфора цивилизации, но не задавался особенно глобальными, мирообразующими проблемами, вытекающими из уникальности восточно-римского мира. Поэтому-то западному коллеге иногда трудно понять ту ноту высокого социального и политического урока, учительства со стороны Византии, которую он чувствует в российских исследованиях. Хотя и знает, что эта нота в них глубоко естественна с давних пор.

С возрождения российского византиноведения в 40-е годы XX в. Сюзюмов оказался наиболее остро ощущавшим необходимость подчеркнуть названную дидактичность опыта византийского мира для прошлого и настоящего, прежде всего – нашего Отечества. Молчаливое (или наполовину молчаливое) признание этого факта проявилось в том, что именно Профессору поручила предельно маститая редколлегия трехтомной «Истории

Византии» (вторая половина 60-х) написать главу об историческом значении восточно-римской империи и общества в сравнении со средневековым Западом. Политико-научная конъюнктура того времени восприняла полученный результат с осторожностью, планируемая глава была написана другим человеком, а точка зрения Сюзюмова воплотилась в статье для альманаха советских византистов.

Но, как известно, логика развития исторической науки усиливала внимание к опыту Восточного Рима. Обновление памяти о соответствующих изысканиях отечественной историографии породило переиздание трудов Ф. Успенского, Ю. Кулаковского, А. Васильева, А. Лебедева, внимание к переводам на русский текст, ранее не вписывавшихся в парадигму преимущественно классового содержания византийской имперскости, – Евагрия, Афанасия Александрийского, Сократа Схоластика, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Исаака Сирина, Максима Исповедника и мн. др. В монографиях и в статьях, публикуемых в «Византийском временнике», «Палестинском сборнике», АДСВ, «Христианском Востоке», «Byzantinorossica» и иных родственных им новых альманахах и изыскательских компендиумах, в центре внимания оказываются системы ценностей, порожденных византийской средой и, как говаривал Михаил Яковлевич, – «культурной радиацией» империи на сопредельные страны. Реализовывался тот нормальный для развития науки вектор, необходимость которого была очевидной для Сюзюмова. Вектор этот, повторяю, вызревал в недрах российского византиноведения давно, а страстный порыв к его воплощению, к воссозданию историописания всего спектра красок портрета империи усиливали такие, как Профессор. Идея системного, цельного понимания византийского, в том числе и державного, наследия была у всех на устах; все, что тяготело к мелкотемью, да еще отрывалось от аутентичного восприятия текста источников, язвительно каралось в рецензиях и в прениях на научных сходках. Гражданский тонус исследований, о котором напоминали труды таких ученых, как Сюзюмов, независимо от стиля и направлений в целом резко повышался.

Усвоение и продолжение сюзюмовского подхода к историческому объекту предусматривает варьирование методики и развитие ее применительно к новым вызовам науки и преподавания. Например, все это не значит, что в российском, в частности уральском, византиноведении все заняты глобальными проблемами и более ничем, что здесь потенциально исключается внимание к частным нюансам византийского бытия и византийского источника и т. п. Микроистория, включающая рефлексии по поводу мудреного на первый взгляд и малозначащего греческого термина или черепка из раскопок Херсонеса, – органическая часть сюзюмовского метода. Пример тому – характер комментариев к той же «Книге епарха» или к «Морскому закону», взыскательная полемика по поводу многих понятий позднеантичных юридических кодексов, «Василик», «Пирь» и т. д. Главное, чтобы эти «частности» оказывались тесно вплетенными в восприятие цельности исторической реальности, породившей подобные осколки прошлого. Иными словами, речь даже не о своеобразии подобного метода. Речь об его органическом соответствии внутреннему содержанию того объекта, на познание коего он нацелен. И поскольку такой объект – Византия, актуальный для пристального внимания россиянина на любом витке истории, то и методика эта остается актуальной.

Все это, впрочем, лишь еще и еще раз подтверждает мысль, что идея об ответственности историка, о его дидактическом пафосе и высоком служении Отечеству не случайна в нашей традиции: если сюзюмовская мысль способна объединить столь разных людей, значит, она существенна в самой своей основе.

Кандидат исторических наук,
доцент А. С. Козлов